

Ф. В. НИКОЛАИ

ПАМЯТЬ, НАРРАТИВ И ТАКТИКИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ВETERANОВ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В РОССИИ

Локальные конфликты сегодня все чаще и активнее используются политиками как средство решения своих ситуативных экономических задач, а также для мобилизации электората. Основным методом при этом становится поляризация оценок и выстраивание жестких оппозиций «свои/чужие», «черное/белое». В этом контексте ключевой задачей историка становится демонстрация сложного характера современной войны и ее последствий. Для этого необходимо предоставить слово тем, кто оказывается в эпицентре боевых действий, но чье мнение менее всего слышно в полемике, – рядовым участникам конфликтов. Их истории очень разные, чаще всего достаточно фрагментарные и противоречивые. Как ветераны артикулируют свои воспоминания? Какие медиа предпочитают? Как взаимодействуют здесь социальные рамки, повседневные практики коммеморации и индивидуальные нарративы?

Ключевые слова: ветераны, устная история, исследования памяти, практики коммеморации, идентичность, гражданские ценности, нарративные стратегии

«Историческая память»¹ в формировании персональной, коллективной, национальной и макро-политической идентичности важна в разных аспектах². В России эта проблематика обсуждается относительно недавно³. При этом основное внимание уделяется скорее политическим рамкам, чем социально-культурным практикам коммеморации или механизмам их субъективного воплощения⁴. Однако часто анализ государственной политики памяти «сверху» оказывается весьма ограничен, ибо не отвечает на вопрос: почему и насколько люди верят политтехнологам в отношении своего прошлого? Создают ли они собственные версии

¹ Пока возьмем это словосочетание в кавычки: слишком многие исследователи настаивают на принципиальном различии между памятью и историей. В частности, известный американский историк А. Мегилл отмечает: «А. Неопределенности в истории, идентичности и памяти взаимны. В. История и память резко отличны, что, прежде всего, проявляется в радикально различных историях, которые помнят разные люди или группы. С. Границы между историей и памятью тем не менее не могут быть установлены точно. Д. В отсутствие единственного, бесспорного авторитета или структуры, напряженность между историей и памятью не может быть снята. <...> Между историей и памятью остается граница, которую время от времени можно пересечь, но которую никто не может и не должен хотеть устранить. Возможно, в наше время более тревожной тенденцией является желание устранить 'репрессивную Историю' в пользу 'подлинной памяти'». Мегилл 2007. С. 168-169. Также см.: Ямпольский 2007.

² Ассман А. 2014; Хальбвакс 2007; Франция-память, 1999.

³ Бордюгов 2011; Историческая политика в XXI веке 2012; Макаров Малинова 2009; Морозов 2009; Репина 2011; Рубцов, 2009.

⁴ Понятие воплощения (embodiment) предполагает акцент на процессе, когда, используя выражение С. Ушакина, «нарратив нации и государства превращается в личную историю». Oushakine 2009. P. 6. Poleмику об эвристических границах этого понятия см.: A Companion to the Anthropology of the Body..., 2011; Csordas 1990.

«контр-памяти» снизу? В какой форме существуют эти приватные воспоминания? Как справедливо отмечает профессор Йоркского университета Ш. Макдональд, «Память работает не только “в голове” – она распространяется в практиках, вещах, телах и взаимодействиях с другими – это сенсорный и аффективный опыт. Этнографическое исследование “онастоящивания прошлого” в Европе должно уделять больше внимания воплощению (аффективному и сенсорному) и материализации опыта (включая предметы, еду, дома и места)»⁵.

Цель статьи – демонстрация гетерогенности работы памяти даже там, где, казалось бы, коллективная *sensibility* и национальная самоидентификация должны быть монолитны – среди ветеранов локальных конфликтов. Для «афганцев» и ветеранов чеченских кампаний «боевое братство», действительно, очень важно. Но каким образом оно определяется? Как связано с макросоциальными (и национальными) рамками? В каких терминах и с помощью каких нарративных стратегий ветераны описывают свой опыт? С весны 2013 г. мы с коллегами собираем интервью ветеранов локальных войн и оцифровываем их фотографии для архива. Судьба каждого из наших собеседников достойна отдельного очерка, а часто и книги. В рамках небольшой статьи можно лишь кратко обозначить специфику тех стратегий коммеморации, которые они используют.

Память и стратегии самоидентификации ветеранов: три истории

Алексей

Прапорщик разведроты Шумиловской бригады внутренних войск Алексей, прошедший обе чеченские кампании, о них говорит крайне неохотно: «Да, ничего особенного»⁶. Но подробно рассказывает про свою недавнюю поездку добровольцем в Луганск, включая такие тяжелые эпизоды, как ранение, гибель восьми из 10 солдат его группы, месяц плена в «Национальной гвардии» и пытки, через которые он прошел. Его рассказ, как это часто бывает у ветеранов, редко говорящих в невоенной аудитории, тем более о столь тяжелом опыте, крайне фрагментарен. Местоимение «мы» он использует предельно ситуативно (и гораздо чаще, чем «я»):

– в основном применительно к своей разведгруппе, принципиально отделяя ее от остальных ополченцев: «Нам на всех остальных было вообще поровну. Кто там комбат, казаки, ‘Восток-13’... Мы сами по себе. Есть у нас свой командир, есть Мозговой, и все... Так и сказали как-то: один выстрел в нашу сторону, мы тут же собираемся и уезжаем. Ф.Н.: – А что, были и такие случаи? А.: – Нет, но, скажем так, предпосылки были».

– говоря о добровольцах из России. Например, описывая допросы в «Национальной гвардии»: «У них прямо ненависть к нам. Узнав, что я из России, били меня особенно энергично».

⁵ Macdonald S., 2013. P. 106–108.

⁶ Интервью 12.03.2015. Архив автора.

– в отношении ополчения в целом: «В Чечне тупо армия была: ‘равняйся, смиряйся, ура’... А тут ополчение. С нами командиры советовались...» «Их [ВСУ] пленный попадает к нам в ополчение, – с ним же ничего не делают, не режут там, пальцы не ломают, не жгут...»

– и так далее вплоть до Красной армии, противостоящей немецкой во второй мировой войне: «Вот тут ихние окопы, тут наши...»

Центром этой подвижной нарративной самоидентификации, несомненно, является разведгруппа. При пересечении с другими коллективами именно она оказывается агентом действия: «Варваровку мы шикарно отработали. Начальник артиллерии прямо так и сказал: разведчики вообще молодцы». «...Водитель был не наш. То есть наш, но не с нашей разведгруппы».

За полтора часа интервью Алексей лишь один раз называет себя русским – в ответ на уточняющий вопрос о его религиозных взглядах: «...Я ведь язычник. Ф.Н.: – То есть это прямо осознанный выбор? А.: – Да. Я русский человек, я славянин, на мой взгляд, это самая патриотичная вера. И многие ребята у нас со спецподразделений: они русские, славяне... Это и отношение к смерти. Умереть можно по-разному, но умереть с честью – это свято». Важно отметить, что и его религиозные взгляды, и национальная самоидентификация артикулируются в связи с военным профессионализмом, как часть воинской культуры. И разведгруппа выступает воплощением такого профессионализма и боевого духа: «У нас все ребята отличные были...». «А у них [ВСУ] вообще разведки не было. То есть может там и есть профессионалы, но я, по крайней мере, не встречал».

Мощный ресентимент и стремление вернуться после лечения обратно в Луганск связаны у Алексея именно с гибелью группы (8 из 10 человек): «Это личное. Но я-то ладно, главное – за ребят...». Ключевые окопные воспоминания и сама стратегия выживания связаны для Алексея, как и для многих ветеранов, с «боевым братством» – чувством общности со своим взводом⁷. Официальные идеологические рамки выступают лишь средством углубить противопоставление «мы/они»⁸, базовая часть которого лежит на уровне повседневного противостояния. С другой стороны, они позволяют артикулировать свой опыт, даже предельный: «Если бы меня раскололи [в плену], я бы с вами сейчас не разговаривал... На тот момент, в принципе, это был для меня один из выходов... [чтобы прекратить пытки]». Нежелание говорить о Чеченских кампаниях отчасти связано и с отсутствием таких общепризнанных рамок («Тут мы сепаратисты, а там, получается, наоборот было»). Фрагментарность рассказа

⁷ Мы еще вернемся к этому понятию, как и к проблематике «военного профессионализма» после двух других историй.

⁸ «Они на самом деле фашисты. По-другому я их не могу назвать. И все их там так называют».

Алексея коррелирует здесь с гетерогенностью военного опыта, который крайне трудно свести к какой-то линейной нарративной структуре.

Игорь

Иначе свой рассказ выстраивает ветеран второй чеченской кампании, военный психолог Игорь, служивший после окончания ВУЗа в 1998–2001 гг. лейтенантом-«двухгодичником» в мотострелковом полку. Он, наоборот, стремится включить и героические, и трагические, и бытовые фрагменты в единую нарративную линию: служба до Чечни, новость о передислокации полка, лихорадочные сборы, поездка, переход границы, движение к Грозному, первые бои и потери, сопровождение «двухсотого» к родным, возвращение в полк, бытовые проблемы, штурм Грозного, кадровые перестановки, движение в горы, окружение у Харсеноя, последние операции, вывод полка в мае 2000 года.

В отличие от прослужившего 20 лет Алексея, уволившийся через полгода после вывода полка из Чечни Игорь чаще говорит «я», чем «мы». Его рассказ демонстрирует гораздо более высокую степень саморефлексии: «Как бы по-умному сказать... В экстремальных условиях активизируется процесс самоидентификации. Человек старается соотнести себя с группой. Вот я девять месяцев жил в одной палатке с четырьмя офицерами. Это как семья. На гражданке жену иногда реже видишь. Это как опыт выживания в отдельной палатке. Каждый день вместе надо кучу проблем решать. Украли у нас колышек. Разбираться иду не только я, но и четыре других офицера. Или где-то в какой-то палатке нашли индюшатику. А у нас почему ничего нет?! Так, что у нас по соседству? Населенный пункт Керла-Юрт. Товарищ полковник, можно за дровами съездить? За дровами можно. Едем. Находим там какого-нибудь одинокого индюка. Хозяева разбежались, он уж думал: теперь заживу, летать научусь. А тут мы... Вот так и жили»⁹.

Как и для Алексея, базовым «коллективом выживания» здесь оказывается микро-группа, объединенная и военными задачами (младшие офицеры управления полка), и бытом, и близкими интересами. Но это единство всегда соседствует с различиями: «Знаешь, момент разобщенности в ветеранских организациях: люди всегда кучкуются по интересам. Единой какой-то концепции здесь нет. Это может быть землячество, рота, батальон или полк, где раньше служили. Лучше всего это видно после банкета. Все берут тарелки и пересаживаются по три-пять-семь человек. Штабисты со штабистами или тыловиками там, – их остальные не всегда любят, а у них интересы явно общие». Подвижность и условность границ таких групп Игорь четко осознает и постоянно артикулирует: «Афганцы и чеченцы между собой, как правило, не ладят...»; «В ветеранских организациях ведь тоже люди очень разные. Вот экспозицию о полку мы в музей собирали. Кто-то прямо сразу и

⁹ Интервью 20.04.2015. Архив автора.

вещи принес, и деньги собрали. А есть люди – ‘я дам 100 рублей, но попробуйте меня на открытие на банкет не пригласить. И чтобы ресторан был хороший, с приемлемой винной картой’». Даже семья, с которой он сравнивает офицерское сообщество «нашей палатки», о которой думает в связи с ветеранскими праздниками¹⁰, мерками которой измеряет «государственную службу»¹¹, в его рассказе может превращаться для ветеранов в «бремя» и часто выступает исключительно внешним фактором мотивации¹².

Осознание этих различий заставляет Игоря скептически относиться к любым пафосным обобщениям. Он с иронией называет свое отношение к прошлому и мировоззрение в целом «циническим»: «Интеллигентность у меня как бы врожденная... Когда я служил, я вообще не пил, не курил и не понимал, как господа офицеры могут так матом ругаться. Цинизм позже стал появляться – через несколько лет после Чечни, уже на гражданке»¹³. Чаще всего, какие-либо макро-политические объединения, в том числе национальные общности, фигурируют в рассказе Игоря как весьма сомнительный конструкт: «Все должно быть точно, потому что наше русское раздолбайство губит любую идею»; «Чем у нас всегда страдает российское общество? Появляется годовщина, которую государство начинает раскручивать. А систематической работы с ветеранами нет...». Общность (включая национальную) оказывается во многом вынужденной оппозицией Другому, и прежде всего, «восточному дикарству»: «Мне сосед, командир спецназа в Нагорном Карабахе рассказывал... Вот мы привыкли считать, что Армения, Азербайджан – это интеллигентные люди. А там это звери. Что они вытворяли с обеих сторон... Это страшные вещи. Прямо восточное дикарство какое-то». Ориенталистские клише здесь оказываются востребованными как общая рамка для выстраивания дистанции, противопоставления приемлемым кодам социального поведения («современности»), услов-

¹⁰ «Музей нужен такой, чтобы туда можно было с семьей прийти. В шаговой доступности. И чтобы ребенок мог гильзы на память прямо из кучи перед выходом взять на память».

¹¹ «У меня прадед в первую мировую воевал; дед – во вторую мировую, с 1940 по 1948 год, потом его кузнецом на Машзавод послали, и он еще 30 лет там отмахал; отец по линии военной контрразведки в КГБ служил. Так что я изначально к государственной службе был расположен».

¹² «У нас был лейтенант-двугодичник Вова. В Чечню он ехать не собирался, но пришел к эшелону нас проводить вот с такой огромной сумкой. Водка, закуска, все, как полагается. Напился так, что не заметил отправления. Через 4 дня в Моздоке иду по перрону – Вова, качаясь, идет в своих трениках. Спрашивает меня: как теперь мне до Нижнего добираться. А как там доберешься – без денег, без документов. А главное – его там жена и теща просто убьют за такое исчезновение. Так и остался с полком до самого вывода. Такой вот парадокс: человек остался служить Родине и воевать до последнего, лишь бы не возвращаться домой к семье». Интервью 8.09.2015. Архив автора.

¹³ Интервью 20.04.2015. Архив автора.

ной «интеллигентности») и правилам ведения военных действий неприемлемых, «дикарских»¹⁴.

Неприятие пафосных обобщений касается и вопроса о мотивации солдат и офицеров: «– Так за что вы воевали? Какая была в основном мотивация? За Россию? Или это была месть за погибших друзей? – Нет, что ты. Никто за Россию не воевал. Какая там Россия... Но и мести тоже не было. Это было именно исполнение приказа». Верность присяге и военный профессионализм как маркеры социальной принадлежности к «своей» офицерской группе или ветеранскому сообществу оказываются гораздо важнее для Игоря, чем рамки национальной риторики.

Александр

Прапорщик спецназа ГРУ, ветеран Афганистана и обеих чеченских кампаний, как и Алексей уехавший добровольцем в Новороссию, Александр собственно о военных операциях почти ничего не рассказывает, но с удовольствием говорит о повседневной армейской жизни: о службе в Заполярье; о тренировках и вооружении; о людях, с которыми служил; о проблемах ветеранских организаций. Будучи на 15 лет старше Игоря и Алексея, он часто называет себя «советским солдатом», противопоставляя свой профессионализм, «честную службу» работе «ментов» и «взвэшников». «Мы их боевыми слониками называли. Только выьем духов из села, или даже не выьем еще – бой идет на окраине... А эти уже ковры да одеяла тащат. Его самого не видно из-под перины. Кричишь им: вы что делаете, дураки?! Бой еще не закончился. Бесполезно...»¹⁵.

К своим многочисленным наградам Александр относится также без лишнего пафоса: «Для меня самой большой наградой было, что из моей группы за эту войну никто не погиб». «Выдали нам какие-то значки “За службу на Кавказе”. Их всем подряд выдавали. А куда они нам. И мы все их выкидывать стали. Прямо на плацу звуки такие – цок, цок, – как кузнечики стрекочут». Однако в неформальном плане воинский профессионализм и фронтовой опыт для Александра крайне важен, – именно он отличает «советского солдата» от «ментов». Этот «профессионализм» существенно отличается от тиражируемого в массовой культуре образа «мужской работы», который подробно разбирает Г.И. Зверева¹⁶. Алек-

¹⁴ С другой стороны, «российскому раздолбайству» может противопоставляться европейская культура, причем как более привлекательная: «Вот европейские музеи – да. Там все для человека. А у нас же в музеях ничего нельзя ни фотографировать, ни потрогать. Это как ребенку объяснить?!»

¹⁵ Интервью 24.03.2014. Архив автора. Игорь выстраивает аналогичную диалогическую ситуацию: «С ввешниками дело иметь – это как на зоне, запахло. Вот мы идем, а за нами ОДОН (дивизия Дзержинского). Ощущение как в 1941-м: пехота, а за ними НКВД». Интервью 20.04.2015. Архив автора.

¹⁶ «Укрепление в продукции массовой культуры установки, что *Война идет повсюду*, содействует выработке стратегии и тактики *национальной мобилизации*, всеобщего единения внутри России (с опорой на противников терроризма в других

сандр не демонизирует противника¹⁷, не боится сложных тем, хотя и не любит вспоминать о том, как уехал из роты, когда начались бои за Грозный. Основным его аргументом здесь вновь выступает «профессионализм» как чувство собственного достоинства и ответственности за группу: «Когда разведчик хоть один выстрел сделал, – это уже не разведка. Это все знают. А у нас разведчиков куда только не посылали: на штурм, в самую задницу... Это же вообще не профессионально. И что хорошего из этого получится? Вот вам пример 84-го разведбата»¹⁸.

Поездка военным советником в Донецк выступает в этом контексте отчасти следованием мобилизационной политике «сверху», но одновременно и поиском самореализации своего профессионализма «снизу». Ключевую роль в решении о поездке сыграла не националистическая риторика, которая противоречит самоидентификации Александра как «советского солдата» и «воина-интернационалиста», но практические моменты: здесь, в повседневной жизни он никому не нужен. Его попытки самореализации – длительная борьба за реформирование местной ветеранской организации, попытка записаться во французский «Иностранный легион», стремление стать военным капелланом – не срабатывали. Именно актуальные социальные проблемы подталкивают Александра, как и многих ветеранов, к ностальгии по службе и идеализации советского общества. Очевидная критическая составляющая этого мироощущения проявляется, прежде всего, в воспоминаниях – именно в этом контексте Александр соглашается на интервью и с интересом говорит о прошлом. Но такая разговорная практика оказывается слишком «слабой» по сравнению с поездкой к боевым товарищам и возвращением в строй (пусть и в Донецке) – гораздо более прагматичной реконструкцией, ра-

странах). Для текстов такого рода характерен органицизм в понимании нации как коллективного тела и гендерных ролей внутри нации как природно- и исторически обусловленных и подтверждаемых повседневным опытом. Отсюда идея *нового единства нации* – мобилизация российских (русских) мужчин, женщин, стариков и детей» (Зверева 2002. С. 103).

¹⁷ «Стояли мы с группой как-то у блокпоста, через который взвэшники беженцев из Грозного выпускали. Бежит ко мне майор, аж задыхается, глаза круглые – прямо вот такие. Пойдем, говорит, поговорим тут с одним... Подходим к 'Волге'. Там мужик такой обычный, из местных, правда, с автоматом, и две девчонки-близняшки. Открывает багажник, а там все забито пачками долларов. Мужик говорит: возьмите, сколько нужно, только проводите нас с дочерьми до границы. [пауза. Ф.Н.: – Ну, а ты?] А я ему: жалко мне не тебя, дурака (и где ты столько денег хапнул – не заработал ведь), а дочерей твоих. Убьют вас по дороге. Но машину я не дам, и сам не поеду. Я советский солдат, мне эти ваши схемы не нужны. Майор, конечно, разорался... Но видит, со мной бесполезно договариваться, отстал. Еще куда-то побежал...» Интервью 24.03.2014. Архив автора.

¹⁸ Именуются в виду серьезные потери, которые понес 84-й отдельный разведывательный батальон 3 мотострелковой дивизии 22-й армии 31-го декабря 1999 г. в Чечне – 10 убитых и 41 раненый. См.: Остроушко 2001.

ботающей ностальгией¹⁹. Проект «Новороссии» выступает для многих его участников не воображаемым будущим, но воплощением или активным *отыгрыванием* прошлого опыта.

Память и повседневные практики на перекрестках прошлого и настоящего

Существующие в академическом поле стратегии описания ветеранских стратегий коммеморации, на наш взгляд, имеют одно важное ограничение. Чаще всего, они исходят из противопоставления «реального» или даже *экзистенциального* опыта войны *медийным* (властным) стратегиям его репрезентации. Первый ярче всего представлен в военной антропологии Е.С. Сеньявской: «Обращение к такому специфическому явлению как война требует рассмотрения важного методологического принципа, имеющего первостепенное значение при изучении личности в экстремальных обстоятельствах. Это сформулированное в философии немецкого экзистенциализма понятие пограничной ситуации. Согласно теории М. Хайдеггера, единственное средство вырваться из сферы обыденности и обратиться к самому себе – это посмотреть в глаза смерти, тому крайнему пределу, который поставлен всякому человеческому существованию. Под существованием имеется в виду прежде всего духовное бытие личности, ее сознание. По К. Ясперсу, с точки зрения выявления экзистенции (то есть способности осознать себя как нечто существующее) особенно важны так называемые пограничные ситуации: смерть, страдание, борьба, вина. Наиболее яркий случай пограничной ситуации – бытие перед лицом смерти. Тогда мир оказывается “интимно близким”. В пограничной ситуации становится несущественным все то, что заполняет человеческую жизнь в ее повседневности, индивид непосредственно открывает свою сущность, начинает по-иному смотреть на себя и на окружающую действительность, для него раскрывается смысл его «подлинного» существования. Эти выводы экзистенциалистов не абсолютны и не бесспорны, но в то же время нельзя не отметить, что чувства и поведение человека в минуту опасности обладают значительными особенностями по сравнению с эмоциями и действиями в обыденной ситуации и могут раскрыть свойства его личности с совершенно неожиданной стороны. <...> Среди людей можно выделить следующие типы по отношению их к войне: “воины по призванию”, “воины по долгу”, “воины по обязанности”, “вооруженные миротворцы”, “профессионально работающие на обеспечение армии и войны”, “пацифисты”, “антивоенный человек” и др. На наш взгляд, такая классификация может быть принята за основу в качестве одного из вариантов систематизации категорий участников вооруженных конфликтов по “отношению к войне”»²⁰. Ре-

¹⁹ Интерес к широкому спектру ностальгических практик крайне популярен сегодня во всем мире. Например, см.: Anthropology and Nostalgia., 2015.

²⁰ Сеньявская 1999. С. 50-51.

альность и подлинность воспоминаний ветеранов здесь представляются самоочевидными. Задача историка – включить их в единую линию²¹, выяснить отличия опыта участников разных войн и, таким образом, реконструировать прошлое почти «как оно было на самом деле».

С другой стороны, и общественное мнение в целом, и воспоминания самих ветеранов во многом зависят от стратегий медийных репрезентаций, о которых пишет Г.И. Зверева: «Продукты массовой культуры, как правило, претендуют на изображение *реальной Войны*: Войны как таковой. Игры с *Войной* на российском телевидении, в коммерческом кинематографе (как и в популярной литературе) провоцируют тесное переплетение художественности и “документальности” а posteriori. Вместе с тем, они постоянно стремятся соотносить выбираемые текстуальные стратегии с идеологическими и политическими установками безличного федерального центра – угадать и по-своему выразить их или, наоборот, вступить с ними в полемику»²². Однако такой конструктивистский подход выносит за рамки анализа опыт самих ветеранов, которым остается лишь соглашаться или не соглашаться с властными стратегиями репрезентации. Однако каковы позитивные *тактики* этого несогласия или согласия? Насколько они монолитны или вариативны?

На наш взгляд, понятие *тактик*, предложенное М. де Серто, позволяет проследить самостоятельную активность акторов «снизу», гибко использующих и перекодирующих медийные клише в повседневных разговорах и (вос)производстве смыслов²³. Ветераны не просто следуют какой-то стратегии репрезентации или описывают прошлое «как оно было на самом деле» – они ретроактивно прорабатывают свой опыт, исходя из актуальных ситуаций и смыслов. Чаще всего это происходит в рамках привычных повседневных практик – обсуждения фильмов и сериалов, перелистывания семейных или солдатских фотоальбомов, контактах с ветеранскими организациями (которых в России создано более 1400), посещения мемориалов и локальных музеев, обсуждения книг и сайтов «новой военной прозы», на интернет-форумах и в социальных сетях. «Интервью для исторического архива» – совершенно непривычный и несколько сомнительный для большинства ветеранов жанр высказывания. Такой разговор для обеих сторон предполагает активную саморефлексию, а также включение перформативного измерения языка²⁴. Память (коллективная, культурная, семейная и личная)

²¹ «Главные черты “народного характера”, его основа, сохранялась у армии и была узнаваема во всех войнах». – Там же. С. 98.

²² Зверева 2002. С. 103.

²³ Серто 2013. С. 41, 105.

²⁴ Тот же М. де Серто рассматривает «акт говорения» как «договор с другим в настоящем» (Там же. С. 42). «Рассказанная история создает воображаемое пространство (fiction). Она отдалается от “реальности” – или скорее делает вид, что избегает конкретных обстоятельств: “Как-то раз...”. Именно за счет этого она в большей

здесь оказывается на перекрестке прошлого и настоящего: *рассказ* о прошлом становится *действием* в настоящем. Он разворачивается как *случай* – фрагментарный эпизод, имеющий отдельный и самостоятельный смысл, который относится к опыту в целом, но не особенно претендует на его обобщение. Именно так, например, Игорь отвечает на вопрос о своем дневнике в Чечне: «Ф.Н.: – Зачем ты писал этот текст? Можно сказать, что ты писал его как бы после событий, после их счастливого завершения? Ты жив, можешь с иронией посмотреть на все эти злоключения и т.д. Игорь: – Да. Но и чтобы приятно было читать. Чтобы возвращаясь к этому, я не думал: о господи, жрать было нечего, патронов всего 60 штук, магазинов к автомату нет, бронжилета нет, каски нет, берцы худые... Если, знаешь, только о плохом... [пауза] – да никому это не интересно, на самом деле. Вот была у меня ситуация: в окружение попали, все плохо. Думал: сейчас нас с минометов расстреляют, потому что мы на открытой площадке; или мины сэкономят – потом? А я после этого многодневного перехода так устал <...> Ничего нету: жрать нету, вода – снег только топить. А кругом духи. Залез в спальный мешок. Вот знаешь, просто снял с себя всю мокрую и грязную одежду, запахал вниз. Одел сухое нательное белье. Холодно, февраль месяц, а спальник синтетический не греет. Лег, закрыл глаза, думаю, похеру, пусть убивают. Абстрагировался... – и так хорошо выспался! И вот то же самое с тем, что писал. Вот реальное, но как бы в другой плоскости – более оптимистичной, менее рациональной, более жизнерадостной. Пришел мокрый в палатку, переоделся, попил чаю – об этом и написать приятно. Пишешь – греешься. Читаешь – тоже теплее становится. <...> Я знал, что потом буду читать с тем же настроением, что писал»²⁵.

Часто такие рассказы ветеранов связаны не просто с памятью, но с тактильными ощущениями и аффектами²⁶: «Пишешь – греешься. Читаешь – тоже теплее становится». Возможно, «нация как метафора»²⁷ редко фигурирует в этих историях потому, что ее границы представляются многим комбатантам слишком подвижными и неустойчивыми. Их субъективная память и личный опыт идут вразрез с доминирующей се-

степени *делает* “ход”, чем его описывает. Если использовать слова, которые приводит Кант, история сама является *действием* канатоходца, эквилибристским жестом, в котором участвуют обстоятельства (место, время) и сам говорящий, умение применять, располагать и “помещать” какое-либо изречение, изменяя целое, – короче говоря, она является “делом такта”». Там же. С. 168.

²⁵ Интервью 20.04.2015. Архив автора.

²⁶ Подробнее о понятии аффекта см.: Massumi 2015.

²⁷ «Нация заполняет пустоту, оставшуюся после искоренения общин и родства, и переводит эту потерю на язык метафоры. Метафора, как предполагает этимология этого слова, переносит значение дома и принадлежности через “срединный перевал”, или равнины центральной Европы, через те дали и культурные различия, которые входят в воображаемую общность нации-народа» (Баба 2005. С. 69). См. также: Тишков В., 2000.

годня медийной стратегией репрезентации локальных конфликтов, о которой пишет Г.И. Зверева. Но артикулировать свои воспоминания и ощущения ветераны предпочитают именно посредством фрагментарных рассказов скорее «метонимического»²⁸ характера: вещь, казус, аффект выходят на передний план, физически репрезентируя «войну» как целое. Такая стратегия представляется очередной попыткой найти более подходящую форму артикуляции тех границ, с которыми комбатанты постоянно сталкиваются как в социальном пространстве, так и во времени. И их рассказы, связанные с ре-актуализацией и переосмыслением «боевого братства», «воинского профессионализма», ностальгии по «советскому», оказываются на пересечении прошлого и настоящего. «Всегда есть, однако, уводящее в сторону присутствие другой темпоральности, которая разрушает современность национального настоящего...»²⁹. Впрочем, это совершенно не означает полного отказа от фигуры «нации» как некоей макро-политической рамки³⁰. Речь идет о смене языка, а, следовательно, и самого режима работы *внутри* этих рамок – на уровне повседневных практик и физических ощущений, который мы условно (вслед за Х. Бабой³¹) назвали «метонимическим».

Таким образом, рассказы ветеранов локальных войн не транслируют их память «напрямую». Это активные практики бриколлажа, действующие на стыке прошлого и настоящего. Память здесь оказывается «силовым полем» производства смыслов и работы культурных практик на границе истории и актуальной повседневности. И специфическая фрагментарность, а также нацеленность на телесный опыт могут выступать как признание гетерогенности и сложности данного поля, где разрывы связей или ирония не исключают социальной солидарности.

БИБЛИОГРАФИЯ

- A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment. / Ed. F.E. Mascia-Lees. Oxford, 2011.
- Anthropology and Nostalgia / Eds. O. Ange, D. Berliner. Oxford; N.Y.: Berghahn Books, 2015. 235 p.
- Csordas T.J. Embodiment as a Paradigm for Anthropology // Ethos. 1990. Vol. 18. P. 5–47.
- Macdonald S. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. L.; N.Y.: Routledge, 2013. 294 p.
- Massumi B. Politics of Affect. Cambridge: Polity Press, 2015. 232 p.
- Oushakine S.A. The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Ithaca; L., 2009.

²⁸ О логике метонимии в рамках современного «поворота к материальному» см.: Константинова 2015.

²⁹ Баба 2005. С. 75.

³⁰ О важных изменениях контекста полемики вокруг «национализма» см.: Савицкий 2012.

³¹ «Признаком амбивалентности нации как нарративной стратегии – и как аппарата власти – является ее непрерывное перетекание в аналогичные, даже метонимические категории, такие как народ, меньшинства или «культурное различие», которые постоянно пересекаются в акте письма нации». Баба 2005. С. 70.

- Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 328 с.
- Баба Х. ДиссемиНация: время, повествование и края современной нации // Синий диван. 2005. № 6. С. 68-118.
- Бордогов Г.А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М.: АИРО-XXI, 2011. 255 с.
- Зверева Г.В. «Работа для мужчин»? Чеченская война в массовом кино России // Неприкосновенный запас. 2002. № 6. С. 102-109.
- Историческая политика в XXI веке. / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 648 с.
- Константинова Р. Метонимический поворот. Социология вещей против социологии технологий // Социология власти. 2015. № 1. С. 90-107.
- Макаров А.И. Малинова О. Россия и «Запад» в XX в.: трансформация дискурса о коллективной идентичности. М.: РОССПЭН, 2009. 190 с.
- Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. 480 с.
- Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 656 с.
- Остроушко В. Приказано умереть // Московский комсомолец. 22 июня 2001. URL: <http://www.mk.ru/editions/daily/article/2001/06/22/107817-prikazano-umeret.html>
- Решина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М.: Круг, 2011. 560 с.
- Рубцов А. Российская идентичность и вызов модернизации. М.: Экон-Информ 2009. 260 с.
- Савицкий Е. Национализм – последняя угроза демократии? Европейские исследования национализма и их постколониальная критика в 1980–1990-е гг. // Диалог со временем. 2012. № 39. С. 256-270.
- Сеняская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 348 с.
- Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Издательство Европейского университета, 2013. 330 с.
- Тишков В. Нация – это метафора // Дружба народов. 2000. № 7. С. 170-182.
- Франция-память / Под ред. П. Нора. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. 328 с.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с.
- Ямпольский М.Б. Настоящее как разрыв: заметки об истории и памяти // Новое литературное обозрение. 2007. № 1. С. 51-74.

REFERENCES

- A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment. / Ed. F.E. Mascia-Lees. Oxford, 2011.
- Anthropology and Nostalgia / Eds. O. Ange, D. Berliner. Oxford; N.Y.: Berghahn Books, 2015. 235 p.
- Csordas T.J. Embodiment as a Paradigm for Anthropology // Ethos. 1990. Vol. 18. P. 5–47.
- Macdonald S. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. L.; N.Y.: Routledge, 2013. 294 p.
- Massumi B. Politics of Affect. Cambridge: Polity Press, 2015. 232 p.
- Oushakine S.A. The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Ithaca; L., 2009.
- Assman A. Dlinnaya ten' proshlogo: memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politi-ka. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. 328 s.
- Baba Kh. DissemiNatsiya: vremya, povestvovanie i kraja sovremennoi natsii // Sinii divan. 2005. № 6. С. 68-118.

- Bordyugov G.A. «Voiny pamyati» na postsovetском prostranstve. M.: AIRO-XXI, 2011. 255 s.
- Zvereva G.V. «Rabota dlya muzhchin»? Chechenskaya voyna v massovom kino Rossii // Neprikosnovennyi zapas. 2002. № 6. S. 102-109.
- Istoricheskaya politika v XXI veke. / Pod red. A. Millera, M. Lipman. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. 648 s.
- Konstantinova R. Metonimicheskii povорот. Sotsiologiya veshchei protiv sotsiologicheskikh tekhnologii // Sotsiologiya vlasti. 2015. № 1. S. 90-107.
- Makarov A.I. Malinova O. Rossiya i «Zapad» v KhKh v.: transformatsiya diskursa o kollektivnoi identichnosti. M.: ROSSPEN, 2009. 190 s.
- Megill A. Istoricheskaya epistemologiya. M.: Kanon+, 2007. 480 s.
- Morozov V.E. Rossiya i Drugie: identichnost' i granitsy politicheskogo soobshchestva. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2009. 656 s.
- Ostroushko V. Prikazano umeret' // Moskovskii komsomolets. 22 iyunya 2001. URL: <http://www.mk.ru/editions/daily/article/2001/06/22/107817-prikazano-umeret.html>
- Repina L.P. Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv. M.: Krug, 2011. 560 s.
- Rubtsov A. Rossiiskaya identichnost' i vyzov modernizatsii. M.: Ekon-Inform 2009. 260 s.
- Savitskii E. Natsionalizm – poslednyaya ugroza demokratii? Evropeiskie issledovaniya natsionalizma i ikh postkolonial'naya kritika v 1980–1990-e gg. // Dialog so vremenem. 2012. № 39. S. 256-270.
- Senyavskaya E.S. Psikhologiya voyny v KhKh veke. Istoricheskii opyt Rossii. M.: ROSSPEN, 1999. 348 s.
- Serto M. de. Izobretenie povsednevnosti. 1. Iskusstvo delat'. SPb.: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta, 2013. 330 s.
- Tishkov V. Natsiya – eto metafora // Druzhba narodov. 2000. № 7. S. 170-182.
- Frantsiya-pamyat' / Pod red. P. Nora. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1999. 328 s.
- Khal'bvaks M. Sotsial'nye ramki pamyati. M.: Novoe izdatel'stvo, 2007. 348 s.
- Yampol'skii M.B. Nastoyashchee kak razryv: zametki ob istorii i pamyati // Novoe literaturnoe obozrenie. 2007. № 1. S. 51-74.

Николай Федор Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права Нижегородского государственного педагогического университета; fvnik@list.ru.

Memory, narration, and the tactics of self-identification of the veterans of local conflicts in Russia

Politicians of different sorts often exploit local military operations as a tool of electorate mobilization. They create a split, a cultural polarization of “our/their”, “black/white” oppositions parts. The main task of a historian in such a context is the deep analysis of causes and complex nature of contemporary local conflicts. That’s why veteran’s voices are so important: they were in the epicenter of war, but their opinion is disregarded by politicians. Soldier’s stories are quite different. How do combatants tell their stories? What type of media do they prefer? How do social frameworks, ordinary practices of commemoration, and personal narratives interact?

Keywords: *veterans, oral history, memory studies, practices of commemoration, identity, civil values, strategies of narrative.*

Nickolai Feodor, PhD in History, Associate Professor; Minin Nizhny Novgorod State Pedagogic University; fvnik@list.ru.